Владимир Ягличич – один из лучших поэтов современной балканской литературы

В Сербии его имя известно всем знатокам изящной словесности. Несмотря на то, что в Европе, да и на балканских просторах всё больше пишут белым стихом, верлибром, в Сербии ещё есть авторы, которые предпочитают писать регулярным стихом. Один из них – В. Ягличич. Он родился в 1961 году в Кра́гуеваце, где живёт и сегодня. Это почти рядом со столичным Белградом. Автор 15 поэтических книг, а также четырёх романов и одного сборника рассказов. С русского, английского и французского перевёл множество книг. Является лауреатом крупных литературных премий Сербии, а также премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина. Его поэтика ненавязчива и вместе с тем оригинальна, его голос хорошо вписывается в русскую поэзию, сочетая в себе современную метафоричность и точные смыслы между прошлым и будущим. Я рад представить его крепкую метафоричную поэзию, где метафоры не способ самоутверждения, а подтверждение правоты автора. Ведь именно об этом так точно сказал О. Мандельштам: «Поэзия есть сознание своей правоты». Здесь можно было бы поставить точку. Но необходимо сказать о переводчиках этой подборки. Алла Козырева, московский литератор, знаток сербского языка, не так давно ушла от нас, не дописав своей последней книги; Сергей Шелковый – активно работающий автор многих поэтических книг, проживает в Харькове (Украина). Всё остальное – в поэзии Владимира Ягличича, главное – внимательно и правильно прочитать его сильную и оригинальную поэзию.

Евгений ЧИГРИН

Владимир ЯГЛИЧИЧ

«ЖИТЬ ТЯЖЕЛЕЙ, НО ПОЁТСЯ – ВСЁ ЛЕГЧЕ...»

Владимир Яглич родился в 1961 году в селе Горняя Сабанта (Сербия). Автор 15 поэтических книг, а также четырёх романов и одного сборника рассказов. С русского, английского и французского перевёл более пятидесяти книг. Является автором и составителем «Антологии русской поэзии XVIII и XIX веков», «Антологии Серебряного века». Лауреат ряда литературных премий Сербии, а также премий «Золотое перо России» и «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.

Перевод Аллы Козыревой
(Москва)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Мне много признанья дали,
гонялся успех за мною.
Но только к чему медали?
Слеза ребенка ценою.

Да, песни мои распевали,
но в мире так много гноя.
Застенки спрячешь едва ли,
застолье убийц чумное.

У власти они не в опале,
оплатят им пир кровавый.
Болею я не о славе.
Тем более славе личной.
Болею я о провале,
он общий, он наш, привычный.

РАДИОВЕДУЩИЙ

Ветер голосами засорили,
бодрые, кричать боимся звонко.
Звук журчит в космическом
эфире,
отзвук в барабанной перепонке.

Сохраняйте это настроенье,
нам включайте музыку для
пляжа,
а для споров — мостопостроенье,
радиоэфир — надежда наша.

Может, встретимся в эфире этом,
хоть кружатся порознь наши
души.
Что ещё стряслось с безумным
светом?
Вести каждый час вбивайте
в уши.

Ненависть и губит нас, и гложет,
вопиет душа в изгнанье снова.
Мир сдержать пускай восторг
поможет.
Музыка — программы всей
основа.

В МУЗЕЕ КОКИ ЯНКОВИЧА*

Из окна музея мне открылось
поле,
муравьёв-рабочих много
полуголых,
на лесах, на стройке свет играет
вволю.
В октябре медовом звонко
кружат пчёлы.

Как тепло! Рубаху распахнул
рабочий,
от тепла и света поле зеленеет.

* Никола Кока Янкович — скульптор, академик, родился в Крагуеваце. После его смерти в Крагуеваце был создан его мемориальный музей на окраине города.

Светлой пеленою мне накрыло
очи,
потерял я голос, всё во мне
немеет.

Как меня накрыло поволокой
странной?
Может, неизвестность отняла
дар речи,
свет теперь повсюду,
день молчит румяный,
будто обнажённой дамы вижу
плечи.

Человек естествен, правильна
природа.
Здесь я — в этом мире?
Он подобен раю.
Даже решетом я набираю воду,
а душистый воздух шляпой
собираю.

Весь внутри прострелен яркими
лучами,
будто каракатиц пальцы —
я текуч,
тьме назло всемирной, вопреки
печали, —
я и сам — луч.

Перевод Сергея Шелкового
(Харьков, Украина)

***

В воздухе родины, отчего края
дышит поэзия, —
пусть неосознанно, —
только в минуты прощанья
сжимая
сердце — печалью и лаской
позднею.

А с каждым новым свиданием
празднество
полнится солнцем шмелиного
пения.
Здравствуй, Шумадия,
песня и здравица!
Здравствуй, и вдох мой,
и сердцебиение!

Буквы, над лугом сияя
соцветьями,
шепчут спасенье нам —
кем бы мы ни были.
Не потому ли рассветами летними
мгла осеняет их головы нимбами?

Здесь вдруг услышишь в тиши
одиночества,
как в озарении, словно до опыта,
некие почвенной глуби
пророчества,
то, что — до Тацита,
то, что — вне Оксфорда.

Вещи здесь мечены целью и сутью:
судно в порту, и Икар
приводняется.
Греет наседка свой выводок
грудью,
бабушка, глядя на них,
усмехается.

Листья шумят неустанно, вещая
новые тропы. В дремотном
подлеске
ал и улыбчив боярышник, зная:
всё здесь надёжно, всё точно
на месте.

***

О Боге ничего не знаю.
Одно лишь очевидно: гений.
И, суть Его не приближая,
уходят вдаль ночные бденья.

И гладь морей, и хаос горный,
и летний луг в цветенье пенном —
всё это Он творил упорно
в своём сиротстве вдохновенном.

А люди? Неуютно с ними —
за своего не принимают
и фарисейской лжи во имя
на крест Спасителя бросают.

И словно нищий возле церкви,
жду то, что вряд ли мне
судилось:
любовь, чьи очи не померкли,
далёкой чаровницы милость.

А ночью вновь меня разбудит
мой стих — не «дважды два —
четыре».
За этот грех меня осудят,
но не сейчас, не в этом мире.

Реальность — отблеск
сновидений:
круги, пути в надежде зыбкой.
Мы ропщем. А рабочий гений
творит грядущее с улыбкой.

ГОРИЗОНТ

Открывал, и не раз, я избушки
оконце,
что глядело на плавность
холмов впереди,
на картинку-открытку в обилии
солнца,
чей уют нас от гибели мог бы
спасти.

Но взметнулась жестоко
смертельная битва,
каждый день обращая
в предгибельный фронт.

Заколочены окна.
Умолкли молитвы.
Избы кривы, мертвы.
Жив один горизонт.

ПАМЯТЬ О ВОССТАНИИ

Спокойно всё теперь, в земле
и на земле,
покой и мир царят в отчизне
долгой тени.
И радуемся мы просторней
и смелей
деревьям, и плодам, и даже
зёрен тленью.
Смиренная земля не произносит
вслух
пророчеств, что порой
ей слышимы вполслова, —
о том, что лишь любви былого
мира дух,
исчезнув под дождём,
готов открыться снова.

Не сразу различишь в родимой
мгле густой
хрип боевых коней и панцирей
мерцанье,
и сербских молодцов в отваге
молодой,
и, сквозь румянец сил, о жертве
прорицанье.
Не сразу разглядишь —
неудержим их ход,
безмолвен их полёт
в пространстве, брат за братом,
в те долгие луга, где мир героев
ждёт,
где вечность славы льнёт
к их серебристым латам.

Истории иной и не было у нас,
лишь та, что пролилась на землю
с тяжким ливнем.
Народ суровых правд, мы свой
иконостас
страданьем утвердим и боль
за благо примем.
И чувствует душа, что доля
смысла есть
и там, где свет надежд не тешил
нас от века.
Кто жертвует собой —
тот в будущее весть,
тот входит в новый мир —
Синжделич, Райич, Велько*.

ОЗЕРО

Гордане Б. Тодорович

В тот день, уже на смертном
ложе,
Вы книгу Мура в руки взяли.
И тихо, словно жизнь итожа,
мне том на память подписали.

«И в каждом сердце, — я читаю, —
хранится шум волны озёрной».
Я молод был, ещё не зная
тех вод, незримых априорно.

Вы ныне — плеск озёрной тайны.
Глаза отражены глазами.
Вы не ушли и неслучайно
Вы — здесь, на берегу,
Вы — с нами.

---

* Танаско Райич, Хайдук Велко и Стеван Синджелич — вожди Первого сербского восстания

ОН

Через парк, от суда и до почты,
я гуляю, неспешно, во фраке.
Загляну в вашу комнату, точно
глаз кошачий, фонарик во мраке.
Летний вечер. Игры моей зона —
бутики, супермаркеты, банки.
Под оркестр, под рекламу неона
снова глажу плечо горожанки.

Если ж дождь, словно боль
головная, во все окна стучит
неустанно,
«Торопись воплотить, —
заклинаю, — человеческий род,
мои планы!»
Вот на танцах, субботнею
ночью, я всех хлопцев
в красавиц влюбляю.
И, с усмешкой в невестины очи,
жениха на войну отсылаю.

Вы, кто старше, глазами
в экраны! В разноцветье
бездумного счастья,
в представления политикана,
в лицемерные россказни власти,
в поп-певиц, в шарлатанов-
пророков, в тех злодеев,
что выбились в судьи,
в финансистов «прозрачных»
потоков. Все они — мне
послушные люди!

Не перечь мне, дитя, резким
тоном, не суди, а послушай
совета.
Посмотри на моих компаньонов:
академики, в лаврах поэты.
И лишь там, где над крышею
храма крест стоит, я шаги
ускоряю.
А за мною, без страха, без срама,
хвост волочится, след заметая.

ХОЗЯИН

И в праздник Крестной славы*
ото сна
поднимет ночь меня негромким
зовом.
В букетах звёзд небесная страна
не спросит о пути моём
ни словом.

Увижу вновь порог, под ним
змею**,
притихшую на камне в чуткой
дрёме.
В траве двора узнаю тень свою
и шаг минувший свой почую
в доме.

Опустят тёмный занавес немой
и тишина, и голос эха странный.
И перед тем, как я вернусь
домой,
замру, застыну, словно
и не званый.

Чтоб шорох из гостиной
услыхать,
согреться вновь слезой свечи
о Боге
и чтоб открылось благо
мне опять:
калитки скрип — под ветром
от дороги.

---

* Крестная слава — праздничная дата, нечто сродни русским именинам. Каждый дом в Сербии помнит своего святителя и славит его в ночь Крестной славы, собирая родных и друзей за столом с угощением

** Праг — распространённое в Сербии верование о том, что под каждым порогом в доме спит змея, охраняющая дом

КАПУСТА

Неспешно выросший кочан
широколистый,
готовый к сечке туготелый шар
хрустящий
засола ждёт, когда на бочку
крест плечистый
положат сверху и пудовый
камень — к вящей

и пущей верности.
Квашенье — род искусства
(что лишь немногим знатокам
сулит удачу).
Пока что снята с гряд и сложена
капуста
и бочек ждёт своих, покрепче,
побогаче.

И вот, посечена хозяйскими
руками,
в день остывания осеннего
светила,
умножась в сущности своей
под тесаками,
она несёт в себе достоинство
и силу,

готовность к жертве без малейшей
тени грусти —
под бодрый стук, под золотистый
отблеск кадки.
Какая мудрость в этих головах
капусты,
всё отдающих — ныне, здесь
и без остатка!
Всё обретающих в осеннем
онеменье,
всё то, что отдано без страха
и сомненья.

ДАРЫ

Миловану Беконьи, скульптору

Когда проводишь друга —
снова, снова! —
в нездешний мир, в загадочную
тишь,
закрывшись в мастерской,
не помня слова,
с немым резцом опять
заговоришь.

Но все шумы, весь хаос
многоликий
в затворничество целятся твоё —
шаги влюблённых, фар
вечерних блики,
околичное, с лаем псов, жильё.

Пусть гул толпы бахвалится
победой.
Но надо было с демоном сойтись
в единоборстве ради правды
этой —
искусства, светом полнящего
жизнь.

И пусть друг друга рвут они
на части,
ни разума не помня, ни стыда, —
и те, кто рвутся к вожделенной
власти,
и те, кто должен уступить места.

Ты знаешь: шум машин,
надменно-сухо
звучащий, страсти зов, поход
во власть —
всё это не от сути, не от Духа,
и, как вселенский прах, должно
отпасть

перед смиренным обликом иконы.
Все лжи слои осыпаться должны
пред вечным, перед тем,
что ждёт исконно
на самом дне духовной глубины.

И только тот, кто наших слёз
достоин,
кто прожил и ушёл как человек,
вернётся в некий час, поэт
и воин,
чтоб с мастером вдвоём назвать
свой век
по имени. Взгляни же миру в очи,
ваятель, чтоб в резце себя нашла
надежда, чтоб Судья небесный
зорче
вгляделся в штрих-пунктир
добра и зла.

Чтоб в дереве, металле или камне
прошли бы пред судом Его седин
тысячелетья следом за веками —
пешком, бегом ли,
«Формулой один».

В счастливой силе дня ты
и не вспомнишь,
что слаб и наг, что на две трети
сед.
Лишь в мудрой одинокой думе
полночь
шепнёт, что каждый свой оставит
след.

И этот след на вязком
бездорожье —
итог трудов резца и мук пера.
Свой нежный дар Христу
и плану Божью
несут сквозь скудость мира
мастера.

Несут сквозь казнь бездушья
и бездумья
отвагу и отзывчивость сердец,
дабы, итожа счёт жестокой сумме,
простил хоть часть стадам своим
Отец.

ТАЗ

Во дворе, возле крана с водою,
почти у забора,
долгий век доживает посудина
старого таза.
Он служил ещё бабушке,
помнится, в прежнюю пору,
а теперь в его чаше герань
расцвела яркоглазо.

В нём купали меня. И касались
Господнего чада
Иорданские воды в купели его
допотопной.
Потому нам доныне, за слабую
веру награда,
льются ливни с небес,
над асфальтом, над грядкой
укропной.

И хоть мухи жужжат над
отжившим железным сосудом,
всё искрится его оцинковка
под солнцем средь зноя.
И смирившись с кончиной своею,
с часов самосудом,

он и участи нашей крупицы
уносит с собою.
Он, кто первым узрел наготу
нашу, Божью убогость,
омовений родительских
помнящий нежность и строгость.

СЛАБОСТЬ

Узлы в мышцах, тромбы в венах,
гематомы у сухожилий и спазмы
в икрах ног.
А сердце, сжимаясь, словно
ягнёнок в хлеве
(тахикардия), скачет из депрессии
в стресс.
В моём физическом исчезновении
преломляется замысел
мира. И уже напрасна
доверчивость к другим снам:
когда внезапно, словно огнём
крапивы, обожжёт
прадавняя и моложавая
непредсказуемая ярость.

Только бы не прозевать мне
автобус.
Тот голубой, запылённый,
забрызганный чёрной болотиной,
тот, с порезанным и рваным,
заштопанным сидением,
со стариком кондуктором,
которого я уже старше.
Чтобы сел я у окна
и поздоровался с мимолётным
домом,
чтоб увидел луг, пахучую ниву
и стерню,
чтобы заметил лица,
ещё не испорченные злостью,
в которой больше не трепещет
мудрое слово.

А потом, чтобы вышел наружу —
где? — в Крчине, например,
заглянул на сельское кладбище
(рядом с торговой лавкой),
чтобы какое-то дитя сказало
«добрый день»,
а дальше чтобы погрузился я
в травы, холмы, долины,
потерявшись навеки в чём-то
невыразимом,
убийственном и целительном,
судьбоносно витающем над
невозможностью плана,
над ежедневной арендной
платой, в невыразимом,
пределы чего я утратил,
но что меня ещё любит.

Там бы я, там, ободрился,
сидя под ветвистым деревом,
вглядываясь, как солнце входит
в меня,
пробуждая в моём теле
незнакомое ещё существо,
чтобы и оно, пусть слабое
и крошечное, стало истоком,
сплетённым в новорождённой
мгле
с не осознавшими свои силы,
неколебимыми лесами,
с которыми я стану единой
семьёй,
не зная несчастья, ужаса,
разорений и изгнаний.

Там бы мне умереть,
в той придуманной стране,
где на поле опадает несуразность
колючей ограды,
средь кудрявых подлесков,
на ровной стерне покоса,
там, где в воздухе слышатся
звуки новых сонетов цикады.
И если не сыщется для меня
шалаш там, гордый, ничей,
если напомнит болезнь,
что по тонкому всё и рвётся,
если станет на пути моём целая
палата врачей,
всё же последним усилием воли
дух мой туда вернётся.

БОГ СКАЗАЛ

Имени отца своего не знаю.
Головы братьев — на кольях
острых.
Мать моя — дыма река без края.
А младшие сёстры — на дальних
погостах.

Друзья мне — крапива да дикий
тёрн.
Любовь — это то, чего не бывает.
Бутылка плывёт, без записки,
средь волн,
и ветер морской её подгоняет.

И Бог сказал: «Живи, если жив,
и душу свою не сгуби в изменах,
куда бы ни звал тебя плоти
порыв.

Ты прах среди прахов
бессчётных, бренных.
И трон ли получишь
иль в дырах суму,
не смей, не пытайся спросить —
почему».

МИЛОСТЬ

М. Янковичу Мидже
(1932-2010)

Сел мужик на треножник
в прекрасный Господний день,
хвост коровий к ноге подвязал —
хлопотать не лень.

Доит вымя парное и полнит
ведро молоком,
только вдруг опрокинулся,
рухнул у яслей ничком.

Это было вчера, а сегодня
слышно: «Ну вот,
наконец-то от дум и забот
старик отдохнёт».

И свеча на столе слезится,
и катится воска сок,
и покойника бороду подвязал
атласный платок.

После тяжкой работы родные
стоят над ним,
лёг хозяин чуток вздремнуть,
лежит недвижим.

Тридцать лет я здесь не был,
блуждая в добре и зле,
не был близко, вплотную
к смерти, к родной земле.

Тот же дом невысокий,
где жизнь человека трудна,
только трещин погуще
и вспучена больше стена.

Тридцать лет промелькнуло,
как будто ладонь о ладонь,
и сияет над днём похоронным
небесный огонь.

Может быть, я живу в глухоте,
словно в неком плаще,
в слепоте, в непроглядном
сиротстве людей и вещей,

где, явив свою милость,
отбросив прозрачную тень,
смерть приходит мгновенно
в сияющий дивный день.

ОБОСНОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ

А мы с Борой Хорватом*
отсутствовали как мёртвые,
пребывая в иных краях —
посущественней, поважней.
Не было с вами нас,
лишь посмертные абрисы лёгкие
на земле мы оставили.
С ветром минувших дней,
с ритмом его искали гармонию
строки наши,
чтобы не каждый понял слова,
но голос любой узнал.
Жить — тяжелей, но поётся —
всё легче, всё дальше.
Вот и забудьте о страхе,
вы, кто нас услыхал.

РАЗГОВОР

Николе Живковичу

Дух германский взявший
за основу,
славянин по сердцу и уму,
издали пришёл ты, чтобы снова
возвратиться к долгу своему.

Ты принёс рассказ о мощном
звуке
Вагнера, где смерть любви равна,
и о Ницше, что верней науки
знал и змей, и грифов имена.

Говорили мы весь день с тобою
о путях Европы и о том,
кто какого миру дал героя,
вставшего над временем мостом.

Вслушивались в собственное
сердце —
где мы ныне? И коль Дух един,
как сравнить железный гений
немца
с нежной силой музы Апеннин?

Где теперь в духовном изобилье
мира наше место, где наш след?
Всё ль идти нам к сумрачной
могиле
по распутью иль забрезжит свет?

Нам и дня с тобою не хватило,
вслед и ночь, грустя, на убыль
шла.
Было жаль родной земли,
что силы
собственной ещё не поняла.

Потому что сын забыл об отчей
вере, колыбель забыл мертвец.
Или нам судьба — слепые очи
пагубных вождей, глухих сердец?

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Едва рассветёт, ощутишь себя
солнца собратом.
А воздух невинностью
и наготою девичьей
сияет. И брызжут булыжники
улицы златом,
и клювы дверей отворённых
зевают по-птичьи.

Жара вызревает, и кажется,
в ней оседают
все отзвуки давешних споров
твоих и сомнений.
А тело и крепнет, и словно
покой обретает
на розе ветров, на распутье,
развязке сплетений.

---

* Бора Хорват — сербский поэт, умерший в Крагуеваце

Твой разум уже отстаёт.
Есть дороги прямее.
Дрожит мошкара по пути
в световой колоннаде.
И сонмы жужжащих существ,
мириады-пигмеи

роятся над утром единственным,
млея в усладе.
И мир — это сон, и предчувствиям
внятен не хуже,
чем явь. Ибо сон тем реальней,
чем глубже.

САД

Эти ягоды отчего сада румяные
есть теперь не могу.
Но глазами любви
вижу я, как пульсирует в них
неустанное
первородство земной
материнской крови.

Этот сад ободрит ещё душу
цветением,
продолжением тех многотрудных
побед,
где соха и мотыга продлятся
струением
вен дождя, где спасенья для
семени нет.

Со скамьи поднимаясь, гуляю
по саду я
и себя в самой дальней из ниш
нахожу
бесконечного мира, весеннего
лада я,
и не запахом новых плодов
дорожу,
но свеченьем, сквозь воздух,
родительских глаз,
жизнь проживших со смыслом
и не напоказ.

СТУДЕНТЫ

Выходили мы, будто из чрева
пещеры,
из натруженных каменных стен
факультета.
И тетради стихов неким
символом веры
мы держали в руках.
Большинства уже нету
на земле средь живых.
Это смерть распахнула,
разметала крыла —
словно шелест бумажный,
за спиной прорастающий,
время взметнуло.
Но в тот полдень мой юный,
влюблённо-отважный,

так она выходила на склоне
семестра,
так светилась, тетрадку к груди
прижимая,
что казалась сестрой
темнокосою ветра,
что будила цветы на всех ветках
средь мая!
Проходила, и город вздыхал
полногрудо,
и казалось, лишь воздух нас
соединяет.
Я завидовал бёдрам,
косе её — чуду,

что не будет моим и ничьим
не бывает.
И я думал, что эти белейшие
зубы,
стать её, в нежнокожей
светимости ранней,
тайно ждут перелёта,
чтоб ангелов трубы
окликали её для небесных
касаний.

Шла она, и был город
её отраженьем,
провода телеграфа осанну
ей пели,
и лягушки в болоте дурманились
пеньем,
и стреляли зрачки её точно
по цели.
И с реалий слетали вуали,
а бронза
изваяний входила в рифмованный
опус.
Все движенья её, поворот
её торса
совершенный являли,
единственный образ.

Молодыми богами, неся свою
святость,
сквозь пространство тех дней
мы вдвоём проходили.
И, оставив внизу отчуждённости
тяжесть,
воспаряли на вздохе.
И белые крылья,
исчезая в искомой небесной
отчизне,
оставляли божественных смут
отпечатки
нам, не смеющим соединиться
при жизни,
нам, несущим предчувствие
в нерве сетчатки,
сквозь зиянье смертей и времён
притязанья —
красоту, чудный сон за пределом
сознанья.

Потому и теперь жив во мне
прежний трепет,
стоит мне лишь пройти мимо
стен факультета.
Не мешает ни страх,
ни забвения лепет,
и куда б я ни шёл, —
во все стороны света, —
где бы я ни блуждал, прихожу
без укора
к тем же встречам, что снова
реальны и зыбки.
И всё жду твоего неизбывного
взора,
всё ищу состраданья небесной
улыбки.

МЕЖА

Тем летним утром солнце встало
рано
и спряло золотую пряжу споро.
В тот яркий день на ум пришло
Йовану
поставить на меже столбы забора.

И с проволокой, с бухтою
колючей
стал Йован на меже на пару
с зятем.
Семейной злой обиды,
тёмно-жгучей,
со хмурых лиц не смыть
и не согнать им.

«Зачем же, Йован, —
грянул голос брата, —
отрезал ты моей земли полметра?»
И взвился над межой клинок
булата
с коротким свистом жалящего
ветра.

И прибежали люди в Божьем
страхе
к меже, где тишина сгущалась
грозно.
И брат стоял в разорванной
рубахе
и в сердце бил себя, но было
поздно.

И умер Йован в братовых
объятьях,
уснул под пряжей солнца
золотою.
И только небо ведало о братьях —
что нет межи, лишь вечность
за межою.

БАССЕЙН

В сентябре обезлюдел бассейн.
И по глади воды
три листка проплывают,
купальщиц былых заменяя,
откупавшихся в августе.
Лишь на ограде следы —
полотенца, забытые
их отлетевшею стаей.
Если ветер подует чуть крепче,
почуешь ясней,
сколько дней растерял ты
за месяц, за месяц всего-то.
Впрочем, надо укутаться.
Ноет под зябкостью дней
незалеченной раны глубинная
долгая нота.

В ресторане и в шахматы можно
играть возле самой воды.
Только не с кем. Все стулья
пустуют. И вовсе уж плохо
с появленьем приезжих.
Надежды сезона пусты,
и осталось от лета не больше
последнего вздоха.

И его Ты возьмёшь у меня,
Господин. Но позволь
опускать мне пока что в бассейн
и лодыжки, и пятки,
соглашаясь на роль в эпизоде.
Ведь главная роль —
время, легче пера, но берущее
всё без остатка,
без отдачи, без жалости.
И где-то там, в пустоте,
горловые дрожат и беззвучно
вибрируют связки.
Так позволь же мне кануть
в пространства надёжные те,
как под воду ныряльщику,
и без малейшей опаски.

Вот и дверь закрывают.
Закатный густеет покой.
И хорошенькой официантки
глаза заскучали —
прикурив сигарету, качает
скрещённой ногой
на пригреве вечернем, на стыке
тепла и печали.
И твоя бы рука прикоснуться
к колену могла,
но движенье упрятано в плен
пеленою бетона.
И куда бы в итоге
случайность-игра ни пришла,
здесь, на стыке миров,
ты найдёшься. Земные дела
за предел отрицанья выводят.
И выдох тепла —
может, больше, чем надо тебе
на уклоне сезона.

***

Тёмным утром, когда наплывает замедленный дождь,
понимаю, что путь мой проляжет теперь через капли.
Даже если и стихнет их ритм, от него не уйдёшь,
ибо звук из глубин — это точность без слова, не так ли?
Мокрый ветер порывом дорогу в ветвях прочесал,
в растерявшем и листья, и память притихшем подлеске.
И дорога Спасителя ждёт, чтобы присных позвал,
чтобы в каплях глаза Его рыб обозначились в блеске.